

## О «переосмысливаніи» Ф. А. Степуна

Опять и опять возвращаются «Современныя Записки» къ уразумѣнію истоковъ русской революціи, къ познанію ея смысла. Это совершенно неизбѣжно. И не потому только, что вся наша эпоха стоитъ подъ знакомъ революціи, но и потому, что только въ думахъ о своемъ быломъ можетъ почерпнуть русскій человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, политикъ или философъ, урокъ для болѣе удачнаго построения своего будущаго.

Читатель найдетъ выше статьи В. А. Маклакова «Изъ прошлаго» и Ф. А. Степуна «Религіозный смыслъ революціи», основныя положенія коихъ намъ уже приходилось оспаривать на этихъ же страницахъ: въ № 38 (Маклакова) и въ № № 33 и 36 «С. З.» (Степуна). И если сейчасъ мы позволяемъ себѣ вновь обратиться къ построеніямъ Ф. А. Степуна, — формальнымъ къ тому основаніемъ служить то, что его послѣдняя статья является въ извѣстномъ смыслѣ какъ бы завершеніемъ цикла «Мыслей о Россіи» и тѣмъ самымъ о Революціи, которая авторъ развивалъ въ своихъ статьяхъ въ журналѣ.

Не только сюжетъ, но и форма, въ которую онъ облеченъ Степуномъ, оправдываетъ повторное возвращеніе къ его построеніямъ.

\*\*

\*

Для защиты того, что Степунъ считаетъ главнымъ, единственнымъ, послѣднимъ, религіознымъ смысломъ революціи, онъ пользуется чрезвычайно сложнымъ сооруженіемъ. Въ его послѣднемъ очеркѣ имѣется особая «методологическая часть»; имѣется совершенно условная, *ad hoc* прилаженная терминологическая сѣть; вращается цѣль логическихъ аргументовъ; собраны итоги и личнаго «видѣнія», и безсознательныхъ переживаній предмета. Въ устойчивость своего сооруженія авторъ, видимо, самъ плохо вѣритъ и численнымъ разнообразіемъ приемовъ за-

щиты онъ какъ бы компенсируетъ недостаточную прочность каждаго изъ нихъ. Не поможетъ словесное искусство — поможетъ «типологическое описаніе», окажется безсильнымъ и оно — придется обратиться къ «транспарациональнымъ» переживаниямъ...

Внутренне-необходимой связи между всѣми этими элементами авторъ и самъ не усматриваетъ. По крайней мѣрѣ, свою «методологию» онъ рекомендуетъ по просту пренебречь тѣмъ, кто ею специально не интересуется, — совсѣмъ какъ въ оранжевомъ «Катехизисѣ», евразійцевъ, гдѣ также предлагалось опустить главу о религіи тѣмъ, кто, интересуясь евразійствомъ, равнодушенъ къ религіознымъ его основамъ.

Конечно, терминологія — вещь условная, о словахъ спорить не принято, да и не стоитъ. Но все же нельзя забывать, что, какъ ни относиться къ словамъ, Песъ — созвѣздіе и песъ — лающее животное совершенно различные «псы». И, кромѣ того, — споръ о словѣ иногда и составляетъ самое существо спора, не отвлеченнаго только, но и чреватаго весьма практическими послѣдствіями. Достаточно вспомнить «контроверзу» о сугубой и трегубой «алилуйѣ» или сохраненіи за государственнымъ строемъ Россіи и послѣ 1905-6 г. г. наименованія «самодержавный».

Въ процессѣ «осмысливанія, обезсмысливанія и переосмысливанія» Степуна слову отведена едва ли не наиболѣе отвѣтственная партія. И не только благодаря тому, что авторъ, мастерски владея словомъ, какъ бы безсознательно отдается его магической силѣ и заставляетъ въ своемъ словѣ «трепетать и отзываться каждое дыханіе ума, сообразно безпрестанно измѣняющемуся сцѣпленію и разрѣшенію мыслей» (См. «Мысли» Ф. А. Степуна въ № 32 «С. З.»). Нѣтъ, Степунъ и по существу признаетъ правду номинализма, полагаетъ, что «имя неотдѣлимо отъ нарекаемой имъ реальности, составляетъ одну изъ наиболѣе существенныхъ частей ея». (Тамъ же).

«Нарекая», Степунъ даетъ не условное лишь обозначеніе предмету. Онъ тѣмъ самымъ вскрываетъ и реальное существо предмета. И потому столь неожиданными и странными въ его устахъ кажутся постоянныя оговорки относительно того, что онъ на своемъ словоупотребленіи не настаиваетъ, что его терминологія «необычна», что его «революція» противорѣчитъ «общерѣчію» и т. п. Что-ни-

будь одно изъ двухъ: либо имя дѣйствительно неотдѣлимо отъ нарекаемой имъ реальности, и тогда Степунъ долженъ настаивать на своемъ наименованіи хотя бы и вопреки «общерѣчію», какъ единственно адекватномъ существу революціи; либо «важно не то, какъ называть вещи, а то, чтобы ихъ правильно видѣть, зорко и существенно другъ отъ друга отличать», и тогда, правильно вещи видя, врядь ли надо неправильно ихъ называть, вводить въ заблужденіе и плодить недоразумѣнія.

Нельзя отдѣлаться отъ убѣжденія, что въ изображеніи революціи Степуномъ авторъ, выражаясь его же словами, «портретируетъ» не столько предметъ изображенія, сколько «изображающее лицо» и свои собственныя мысли и представленія. Какъ бы цѣнны ни были они, все же необходимо было зорко и существенно отличать «структуру» революціи отъ «структуры» сознанія Ф. А. Степуна. А наличности з а р а н ѣ е данной и совершенно опредѣленной «структуры» Степунъ и самъ не скрываетъ. «Нельзя, говоритъ онъ, з н а я (подчеркнуто Степуномъ!), видя, чувствуя, что въ революціи свершается гнѣвное вторженіе абсолютнаго въ историческую жизнь, изслѣдовать революцію такъ, какъ будто бы это совершенно неизвѣстно».

Неизвѣстно лишь, для чего вообще въ такомъ случаѣ заниматься изслѣдованіемъ религіознаго смысла революціи, разъ «знаніе», «видѣніе» и «чувствованіе» его уже даны?!

Подмѣна структуры революціи структурой личнаго сознанія автора встрѣчается не одинъ разъ. Достаточно сказать, что на протяженіи почти всей статьи, вопреки обѣщанію, вскрывается не смыслъ вообще революціи, а революціи ограниченной во времени — и по смыслу — большевицкой. Знакомый съ прежними писаніями Степуна знаетъ, что онъ именно такъ констатируетъ русскую революцію, — какъ революцію прежде и больше всего большевицкую. Но что именно такова и объективная структура всякой революціи, и большевизмъ есть революція, а не ея вырожденіе и перерожденіе, нигдѣ не показано и ни изъ чего не слѣдуетъ.

Степунъ большой охотникъ до антитезъ. Прежде онъ любилъ противопоставлять живое видѣніе глаза мертвымъ точкамъ зрѣнія. Сейчасъ этотъ «зрительный» образъ замѣненъ «гносеологическимъ» противоположеніемъ и деологіи, какъ «построенія теоретическаго сознанія»,

идеямъ, какъ «структурѣ нашего безсознательнаго переживанія». Не то, что между идеологіями, какъ и между идеями, имѣются ложныя и истинныя, мертвыя и живыя. Нѣтъ, идеологіи, какъ таковыя, тяготеютъ къ беспочвенности и бесплодію; идеи же, наоборотъ, отмѣчены положительнымъ знакомъ — жизненны и благодатны.

Это «гносеологическое» различіе имѣетъ столь же произвольное социальное-политическое сопровожденіе. — Люди, вдохновляемые идеями, — «жизненные люди», между ними возможна встрѣча и схождение, даже когда они слѣдуютъ за разными идеями. Другое дѣло, — приверженцы идеологій; они — мертвецы, извѣчно непримиримые и осужденные на постоянную борьбу. Помѣщикъ съ кооператоромъ — «жизненные люди» и, потому, они могутъ дѣлать общее дѣло, тогда какъ профессоръ и журналистъ — непременно «фанатики лжеидеологій» и обречены на взаимоистребленіе.

Такая «структура» идеолога и профессора характерна не только какъ крайнее проявленіе личнаго самоотрицанія и самоотреченія, какъ общая дисквалификація всѣхъ усилий «осмысливать», обезсмысливать и переосмысливать» явленія. Она характерна и своимъ нагляднымъ тяготѣніемъ къ жизненному практицизму, въ сторону малыхъ дѣлъ, взамѣнъ неудавшихся большихъ и малыхъ идей и идеологій!

Что раскрываемый Степуномъ смыслъ есть не смыслъ, раскрывающійся въ революціи, а смыслъ въ нее вкладываемый опредѣленной структурой авторскаго сознанія, съ неопровержимостью обнаруживается и изъ обоихъ якобы «конститутивныхъ» признаковъ революціи.

Революція, по нынѣшнему утвержденію Степуна, это — «распадъ»; она знаменуетъ «разрывъ національнаго сознанія».

Не будемъ говорить о томъ, что еще не такъ давно самъ Степунъ видѣлъ въ революціи прежде всего не «распадъ» и «разрывъ національнаго сознанія», а, какъ и мы, «всенародный порывъ», всеобщую зачарованность и «одержимость» хотя бы и преходящимъ во времени «мигомъ». Оставимъ въ сторонѣ нашъ старый съ нимъ споръ о «структурномъ» и вслѣскомъ иномъ различеніи Февраля и Октября. И все же придется отмѣтить, что «структура» Степуна характерна только для большевицкой революціи и никакъ не подходитъ ни для «провинціальной» и малой

германской революціи, ни для «настоящей» и «классической» революціи французской. Будучи и для Степуна революціей, «классическое происшествіе 1789 г.» знаменовало отнюдь не разрывъ національнаго сознанія, а его сцѣпленіе. Единая и недѣлимая (*une et indivisible*) патриотическая Франція была синонимомъ Франціи революціонной, несшей на своихъ побѣдоносныхъ знаменахъ неотчуждаемая отъ челоуѣка и гражданина права, свободу, равенство и братство.

Не болѣе благополучно обстоитъ дѣло и съ тѣмъ, въ чемъ Степунъ видитъ первопричину и революціи и распада національнаго сознанія, — отрицаніемъ русской революціей, какъ и всякой, абсолютнаго, т. е. религіознаго значенія культурныхъ цѣнностей и благъ.

Какъ «разрывъ единства національнаго сознанія» не вмѣщается въ подлинную структуру французской революціи, такъ «отрицаніе абсолютнаго» не вмѣщается структурой англійской революціи. Послѣдняя возшла цѣликомъ на пуританскихъ дрожжахъ, питалась религіозными страстями и воодушевленіемъ и протекала подъ знакомъ борьбы за разныя, но религіозныя святыни: за «свободу съ благословенія Божія», за уничтоженіе епископата, вліянія римской церкви и т. д.

Структура революціи эмпирической явленной міру въ октябрѣ 1917 г. никакъ не покрываетъ общаго «логоса» революціи.

Какъ бы предупреждая упрекъ въ субъективизмѣ, Степунъ утверждаетъ, что къ «сферѣ трансраціональнаго внутренняго опыта» критерій субъективности вообще неприложимъ. Ибо субъективность, по Степуну, заключается «вовсе не въ недоказуемости правды», а въ «нравственной дефективности»: въ духовной ненапряженности опыта, его незрячести и безпредметности.

Намъ представляется, что и при такомъ пониманіи субъективности «переосмысливаніе» революціи Степуну не можетъ уйти отъ признанія его произвольно-субъективнымъ. Ибо для него — «чѣмъ была (!) русская революція опредѣлится (!), въ концѣ концовъ тѣмъ, во что она въ будущемъ выльется или, говоря менѣе фаталистически, тѣмъ, что мы изъ нея въ будущемъ сдѣлаемъ». Иначе — прошлое опредѣлится будущимъ. Конецъ увѣнчиваетъ дѣло. По плодамъ узнаются корни и существо вещей.

Это идетъ въ разрѣзъ не только съ утвержденіями того

же Степуна: «на вопросъ о смыслѣ революціи нельзя отвѣчать указаніемъ на порождаемая ею въ концѣ концовъ цѣнности». Это есть и принципиальное отрицаніе, завѣдомый отказъ проникнуть въ существо революціи и увидѣть подлинный его ликъ до того, какъ исполнятся времена и сроки, и будущимъ освѣтится — и, можетъ, освятится — прошлое.

Такой агностическій натурализмъ какъ будто бы менѣе всего свидѣтельствуетъ о чрезмѣрной духовной напряженности и «зрячести» внутренняго опыта!.. И это не случайная обмолвка у Степуна. Нѣтъ! Онъ и раньше не страдалъ, какъ другіе, «метафизическимъ малодушіемъ и недоувѣріемъ въ органическое вызрѣваніе идей». Онъ и раньше заявлялъ чистосердечно:

— «...А что же хорошо, что большевики были или лучше если бы ихъ не было?? На этотъ вопросъ я сейчасъ (подчеркнуто Степуномъ!) отвѣтить не могу. Отвѣтъ на него будетъ зависѣть (подчеркнуто мною!) отъ того, во что переродится большевизмъ въ Россіи. Если все кончится только порядкомъ, мѣрой, закономъ, — то большевизмъ придется признать только зломъ, тѣмъ, чего лучше бы не было. Но если Россія въ будущемъ, въ своемъ національномъ и социальномъ строительствѣ вознесется на тѣ положительныя религиозныя, этическія и социальныя высоты, о которыхъ пророчествовали Толстой и Достоевскій, съ которыхъ она сорвалась въ большевизмъ, которыя она исказила въ революцію, то Октябрь будетъ оправданъ». (См. «С. З.» № 34, стр. 440).

Какъ это Толстой и Достоевскій могутъ вдругъ оказаться въ активѣ у большевиковъ, въ зависимости отъ хода грядущихъ событій, и надо ли стремиться къ тому, чтобы все кончилось «порядкомъ, мѣрой и закономъ», или, какъ въ былое время, необходимо рваться на «положительныя религиозныя, этическія и социальныя высоты», — пока что остается секретомъ Степуна.

Этотъ секретъ интимно связанъ съ внутреннимъ отношеніемъ Степуна къ революціи, какъ объекту познанія, а не какъ сферѣ дѣятельности. Раскрываемый Степуномъ смыслъ революціи касается главнымъ образомъ міра представленій и только косвенно и отраженно — міра воли.



Въ идеѣ о революціи Степуна, — а идея у Степуна, надо помнить, «структура его безсознательнаго переживанія», — нѣтъ мѣста активному отношенію къ революціи. Эта идея чужда или во всякомъ случаѣ довольно равнодушна къ волевому отбору положительныхъ творческихъ элементовъ революціи, къ борьбѣ противъ элементовъ распада.

Степунъ, правда, говоритъ, что «для каждаго изъ насъ революція есть въ насъ самихъ становящаяся судьба Россіи», что даже ея прошлое «опредѣлится тѣмъ, что мы изъ нея сдѣлаемъ», но агностицизмъ его парализуетъ его волю. Не имѣя сей часъ отвѣта даже на вопросъ, — является ли большевизмъ добромъ или зломъ, онъ, естественно, и не можетъ имѣть ни стимуловъ, ни воли для борьбы съ тѣмъ, что можетъ оказаться зломъ, но можетъ вѣдь обернуться и добромъ.

Степунъ совершенно напрасно увѣряетъ, что революціонная энергія своею выдумкой убиваетъ мысль. Нѣтъ, не она, революція, а онъ, Степунъ, своею выдумкой, — на которую такъ воздержанъ, по мнѣнію Степуна, всякій русскій интеллигентъ, — убиваетъ, поскольку можетъ убить, революціонную энергію. Самое бытіе революціи Степунъ доказываетъ тѣмъ же онтологическимъ способомъ, какимъ въ до-кантовскія времена доказывалось бытіе божіе. «Бытіе революціи состоитъ ни въ чемъ иномъ — (ни въ чемъ иномъ! М. В.), — какъ въ осмысливаніи, обезсмысливаніи и переосмысливаніи жизни». «Каждый актъ постиженія прошлаго есть актъ построенія или разрушенія будущаго».

Смысль Степуна это смыслъ критическаго разума, а не практическаго. А называемый Степуномъ религіозный смыслъ есть по просту мѣщански-благополучный, безтрагичный, всеустраивающій и всѣхъ со всѣмъ примиряющій смыслъ. Для Степуна — «Если у революціи есть смыслъ, то онъ долженъ быть смысломъ общимъ, смысломъ для всѣхъ, смысломъ, явственно возвышающимся надъ всѣми партійными осмысливаніями». Съ самимъ Богомъ Степунъ не согласенъ мириться иначе, какъ на условіяхъ мира безъ побѣдителей и побѣжденныхъ,

безъ аннексії и безъ «жестокой экспроприаціи священныхъ смысловъ нравственныхъ страданій и героическихъ подвиговъ».

Для Степуна по просту «преступна мысль, что осмысленная для Антанты война кончилась для насъ, русскихъ, а также и нѣмцевъ полной безсмыслицей, потому что для русскихъ она закончилась Брестомъ, а для нѣмцевъ Версалемъ». Въ такой же мѣрѣ «преступнымъ» кажется ему утвержденіе, что революція можетъ осмыслиться въ будущемъ для демократовъ и социалистовъ и навѣки остаться «только безсмыслицей для всѣхъ погибшихъ въ ней монархистовъ и бѣлогвардейцевъ»...

Структура безсознательныхъ переживаній Степуна здѣсь явно отступаетъ отъ структуры его сознательнаго утвержденія, что прошлое (большевизмъ) освятится или, наоборотъ, будетъ проклято въ прямой зависимости отъ будущаго, отъ того, что «мы» изъ него сдѣлаемъ. Эта структура явно не совпадаетъ и съ реальностью. Ибо можно спорить, въ какой мѣрѣ война кончилась «осмысленно» для Антанты. Но что для русскихъ и для нѣмцевъ она кончилась безсмыслицей, противъ этого спорить, — конечно, не преступно, но врядъ ли имѣетъ смыслъ. Въ это можно вѣрить, но лишь по Тертуліану — *quia absurdum est!*.. Наконецъ, отрицая даже за исторіей право вскрывать неосмысленность страданій и подвиговъ, въ которыхъ страдальцы и герои въ свое время видѣли «священный смыслъ», Степунъ, на нашъ взглядъ, погрѣшаетъ и противъ социологіи, и противъ подлиннаго смысла священнаго. Ибо въ универсально-уравнительномъ отношеніи ко всѣмъ страданіямъ священное растворяется; спимая всѣ противорѣчія съ добра и зла, оно становится постыдно равнодушнымъ къ нимъ. И не надо быть непременно Сальери, чтобы рѣшительно отвернуться отъ мірозданія, въ которомъ «нѣтъ правды на землѣ, но правды нѣтъ и выше»!..

Конечно, онъ знаетъ и самъ о томъ упоминаетъ, что исторія человѣчества — трагедія, а не идиллія. Но это знаніе не проникаетъ вглубь его сознательной и безсознательной «структуры». Его переживанія и то, въ чемъ онъ находитъ послѣдній, религіозный смыслъ сущаго, въ частности, — и революціи, совсѣмъ близко подходятъ къ переживаніямъ католицизма, выраженнымъ въ классической формулѣ ватиканскаго собора: «Кто станетъ отрицать.



что миръ созданъ для прославленія Бога, — тому анафема!»...

Эта структура имѣетъ общее съ структурой Кальвина, усматривавшаго прославленіе Бога даже въ предопредѣленности къ мученіямъ и гибели. И менѣе всего она сродни «доброму русскому» Богу. И человѣкъ, простой русский человѣкъ не рѣшился бы сотворить миръ такимъ, какимъ его готовъ принять, какъ божіе твореніе, Степунъ. И не надо быть вѣрующимъ, достаточно не быть лишеннымъ элементарныхъ чувствъ справедливости и состраданія, чтобы отвергнуть миръ такимъ, какимъ его готовъ религіозно принять и осмыслить Степунъ\*).

Если искать въ революціи непременно религіозный смыслъ, его можно найти только въ томъ, что революція — актъ творчества, историко-политическаго и этическаго; въ терминахъ Влад. Соловьева — одна изъ формъ богочеловѣческаго становленія. Какъ Соловьевъ доказывалъ это въ отношеніи къ гуманизму и «безусловнымъ» принципамъ 89 года, такъ Степунъ могъ бы доказывать то же въ отношеніи къ русской транскрипціи этихъ принциповъ — къ Февралю 17 г. И такъ же, какъ это не доказуемо въ отношеніи къ «святѣйшей» Инквизиціи или изувѣрской религіозной сектѣ, это не примѣнимо и къ Октябрю.

\*\*  
\*\*

«Осмысливать, обезсмысливать и переосмысливать» миръ, вносить свѣтъ разума во всѣ расщелины хаоса — совершенно въ стилѣ и въ духѣ русской культуры: въ традиціи русской философіи и художественнаго творчества, въ обыкновеніи русской общественности.

\*) Ср. очень интересный и содержательный этюдъ Н. А. Бердяева «Изъ размышленій о теодицеѣ», въ которомъ авторъ ставитъ себѣ задачу оправдать Бога отъ клеветы, которая на него возводится человѣческими измышленіями. — «Есть отношеніе къ Богу, которое есть послѣдняя форма идолопоклонства въ мирѣ. Не только къ ложнымъ богамъ, но и къ истинному Богу возможно идолопоклонническое отношеніе». И, съ другой стороны, — «нельзя Бога мыслить подобнымъ камню. Богъ не страдающій былъ бы несовершеннымъ и ущербнымъ Богомъ». И божество нуждается въ «кенезисѣ, униженіи, умаленіи, истощеніи».

Вмѣстѣ съ «небеснымъ монархизмомъ» и «имперіализмомъ» Бердяевъ особенно страстно изобличаетъ, — элеатское, «рабье поклоненіе» бездвижному и безтрагичному Богу. — «Путь» № 7.

Кто только ни осмысливалъ у насъ дѣйствительность! И какъ только ея ни осмысливали!

Въ новѣйшемъ «переосмысливаніи» русской революціи Ф. А. Степуна чувствуется довольно почтенная старина. Оно заставляетъ вспомнить другое «осмысливаніе» русскаго духа и русской исторіи, произведенное больше полувѣка тому назадъ Достоевскимъ. Величайшему изъ тайновидцевъ духа упорно не давалась историческая плоть, никакъ не раскрывалась тайна политической матеріи. И онъ оказался въ ряду наиболѣе неудачныхъ прорицателей историческихъ судебъ Россіи. Не въ злободневно-политическомъ «Дневникѣ Писателя», а въ потрясающихъ своихъ «Запискахъ изъ подполья» писалъ онъ еще въ 1864 г.:

«У насъ, русскихъ, вообще говоря, никогда не бывало глупыхъ надзвѣздныхъ нѣмецкихъ и особенно французскихъ романтиковъ, на которыхъ ничто не дѣйствуетъ, хоть земля подъ ними трещи, хоть погибай вся Франція на баррикадахъ, — они все тѣ же, даже для приличія не измѣняются и все будутъ пѣть свои надзвѣздныя пѣсни, такъ сказать, по гробъ своей жизни»...

Здѣсь, какъ и позднѣе, Достоевскій кичился — и совершенно напрасно кичился — передъ Европой. Онъ самъ оказался не чуждъ той «надзвѣздной романтики», надъ которой издѣвался, какъ надъ нелѣпой французо-нѣмецкой выдумкой. И тутъ его пророчество не сбылось, какъ не сбылась его увѣренность въ томъ, что Россіи суждено сказать Европѣ свое слово, а Европѣ — еще до этого быть залитой кровью; что «Птица Каганъ» прилетитъ не на «русскіе просторы», а на европейскую «тѣсоту», и «хрустальный дворецъ» для низшей братіи будетъ построено «на крови и ненависти» не у насъ, а у нихъ... Ничего изъ всего этого съ Европой не приключилось или — сбылось какъ разъ обратное тому, о чемъ пророчествовалъ Достоевскій.

И надзвѣздной романтики оказалось у насъ больше, чѣмъ нужно, и гораздо пагубнѣе были ея плоды у насъ. Тѣмъ во всей прочей Европѣ. Это про нашихъ, отечественныхъ романтиковъ, а не о французскихъ и тѣмъ менѣе нѣмецкихъ, можно сказать: «хоть земля подъ ними трещи, хоть погибай вся Россія на баррикадахъ, они все тѣ же и все будутъ пѣть свои надзвѣздныя пѣсни, такъ сказать, по гробъ своей души»...

Конечно, полного тождества между романтикой русской и французской или нѣмецкой нѣтъ и не можетъ быть. Но нѣтъ ея и между революціями. Разница есть и тутъ, и тамъ. Но разница количественная, по размаху и глубинѣ, а не по какому-то особенному смыслу, да еще религіозному, якобы впервые открывшемуся міру въ грязи и крови большевицкаго Октября.

Когда Достоевскій говорилъ: «Въ русскомъ народѣ, въ сущности, кромѣ православной идеи нѣтъ никакой», — это было такой же надзвѣздной романтикой въ чистомъ видѣ, какъ и утвержденіе Степуна (воспроизводящее буквально большевицкій штампъ) — «Русскій народъ возсталъ на царя и Бога во славу Маркса и Интернаціонала». Оба тезиса, обратнo противоположные по содержанію, схожи «структурно», по надзвѣздо-романтическому своему, ирреальному существу.

**М. В. Вишнякъ.**